

АЛЕКСАНДРА ЗАЙЦЕВА

# Девочке в шаре всё нипочём

Москва  Самокат

# 1

Ночью мы танцуем на крыше.

Попасть туда легко, всегда есть кто-то, кто впустит в подъезд. Схема проста и срабатывает без осечек. Сначала мы скромно стоим на крыльце, Будда жмёт кнопки домофона, и на маленьком экране вспыхивают алые цифры. Дребезжит механическая трель, из динамика раздаётся: «Кто там?» Дальше мой выход. Голосом примерной девочки жалуясь, что потеряла ключ. Щёлкает замок, и мы проскальзываем в едкие запахи чужого жилья. Шумно набиваемся в тесный лифт, чуть приплясываем от нетерпения. Кабина ползёт на последний этаж, поскуливает и дрожит. Всякий раз

опасаемся, что застрянем, потому что нас слишком много. Каша хихикает и нарочно подпрыгивает, а Спринга́ голосит, чтобы он перестал. Потому что Каша — сокращённое от «Кашалот», и веса в нём больше, чем во мне и Спринге, вместе взятых.

Кашалот гребёт отсюда,  
За спиной кипит волна,  
Он — большое чудо-юдо  
И не умный ни фи́га.

Это Спринга придумала. Она милостиво держит Кашу то за прислугу, то за ручного ярмарочного медведя. Ей подходит его обожание. Спринга привыкла быть на виду, потому что яркая: кожа нереально белая, почти сияет, а короткие волосы выкрашены в рыжий. Имя — от английского «спринг», что значит «весна», — она выбрала сама, навязать ей что-то невозможно. А Каша стал Кашалотом ещё в начальной школе. Сначала обижался, но бороться с прозвищами настолько трудно, что легче привыкнуть. Он и привык. Всё-таки это лучше «жирдяя» или «свинины».

Сейчас Каша неизменно катится за Спрингой надувным мячиком — сколько хочешь бей, отскочит и вернётся. Это что-то вроде спектакля: им нравится разыгрывать мелодраму, а нам — наблюдать. Мы всё время играем. Изображаем рок-звёзд, потерянных детей, упавших ангелов. И лучших

друзей. Мы и есть лучшие друзья, но стараемся стать вроде тех, что из голливудских фильмов.

И только танцуя на крыше, мы просто танцуем на крыше.

Лифт дёргается, останавливается и с облегчением выпускает нас на лестничную клетку десятого этажа. Теперь надо тихо, крадучись, чтобы жильцы не затеяли скандал и не вызвали милицию. Первым в чердачный люк лезет Будда, потом Спринга, Каша, Чепчик и Джим.

С Чепчиком всё просто, его фамилия Чепликов. Он дружит с Кашей крепче, чем с остальными, и попал к нам из-за него. Чепчик любит музыку Цоя, ходит будто в трауре, как и другие киномамы. Говорит, что загадочно и хронически болеет, от этого костлявость, тёмные круги вокруг глаз и вечно обветренные кровящие губы. Чепчик — вылитый вампир, но не страшный, а немного комичный.

Джим совсем другой, прозвали его в честь Джима Моррисона. Только длинные чёрные волосы нашего красавчика не ложатся на плечи волнами, а вьются мелким бесом. Это от армянской бабушки или татарского деда, от еврейского прадеда или ещё от кого. Родословная у Джима до того пёстрая, что с наскака не разобраться. Его маму зовут Румия, она филолог и, между прочим, доктор наук, а русский

папа — профессор биологии. Джим в своих берцах, драных джинсах и в толстовке с красной буквой «А» мог бы сойти за позор семьи, но он отличник и умница, а его вселюбовь ко всему миру способна крушить звёзды. Наверное, именно от этой вселюбви он замечает меня чаще других и, когда мы лезем на крышу, оборачивается и подаёт руку.

Я бы хотела, чтобы ладонь мне протянул Будда. Я — его тень, это все знают. Без него я никто. Так что я — Никто. А Будда — всё.

Будда не предложит мне руки ни сейчас, ни потом. Он достаёт из рюкзака барабанные палочки и усаживается на тёплый битум плоской крыши. Мы здесь не впервые, припрятали жестяную банку из-под краски за кирпичным воздуховодом. Будда ставит её перед собой и начинает настучивать нехитрый ритм. Аккуратно, чтобы не потревожить жильцов. Но этого глуховатого «дун-дун-тудун-дун» нам достаточно.

Я не помню, кто и почему это придумал — танцевать именно так. И, наверное, не очень правильно говорить, что мы танцуем ночью, но «поздним вечером» — не звучит. К тому же над нами и вокруг непроглядное сентябрьское небо, а в нём — гроздя белых созвездий и почти полная луна.

Мы — чёрные силуэты на фоне чуть более жидкой темноты. Не говорим, не поём, не смеёмся.

Просто двигаемся, рвано подёргиваемся, подчиняясь палочкам Будды и помятой жестянке. В этом есть что-то первобытное. Мерный стук и беззвучные взмахи руками. А он, мой шаман, сидит, чуть ссутулившись, наклонив голову так, что длинные светлые пряди падают на глаза и щёки. Я точно знаю, что лицо его ничего не выражает, но при этом он улыбается.

Будда часто улыбается сам себе и редко говорит. И я тоже. Это объединяет нас, мы молчим не порознь, а вместе. Но если меня легко не замечать, то он всегда в центре. Войдя в комнату, вы сразу посмотрите на Будду и, даже если повернётесь спиной, будете чувствовать его присутствие. Возможно, вы разглядите и меня, но вряд ли. Мне это безразлично. Я давно привыкла сливаться со стенами и наблюдать из-под неровной чёлки мышиного цвета.

Моя чёлка — моя броня. Это как тёмные очки или капюшон ветровки для других. А мне нравится так. Вроде ничего особенного — несколько прядей на глазах, но с ними никто не достанет и не заденет.

— Ослепнешь! — время от времени цепляется Ма. — Не хочешь постричь, хоть подкалывай.

«Не твоё дело», — думаю я.

## 2

Когда меня спрашивают о родителях, очень редко, потому что обычно вообще ни о чём не спрашивают, так вот, когда невозможно увильнуть от ответа, я говорю: «Отец — начальник, мать — грустная женщина». Похоже на шутку или глупость, но на самом деле это правда. Что тут ещё обсуждать?

Родители Спринги — обычные гопники. Классические: дом, гараж, огород, толстые зады, тряпки в стразах, куча такой же родни и попса вперемежку с шансоном. Спринга острит, что это свинское семейство — наказание за её грехи в прошлых жизнях. Жизней, видимо, было много: за одну невозможно так сильно накосячить.

Про Джима я, кажется, рассказывала. У Каши только мама, похожая на карикатурную шпалокладчицу. У Чепчика не знаю кто, а родители Будды — хорошие люди. Сейчас они в Нигерии или в Уганде, ищут воду с другими сердобольными волонтерами. Вообще-то они оба фотографы, иногда писатели и ещё чёрт знает кто.

— Идиоты, прости гос-с-споди! — неизменно ворчит бабка Будды, пытаюсь навести хоть какой-то порядок в его замызанной однушке.

Хорошо, что не часто, а только пару раз в неделю, когда наезжает с любимой дачи заботиться о внуке. — Шаболды. Бросили пацана, как будто в шестнадцать он сам себе хозяин. Конечно, мне-то нетрудно присмотреть, даже в удовольствие через весь город с кастрюлями таскаться и тряпкой тут махать! Волонтёры, блин. И этот дебилом растёт, трусы с носками постирать не может. Ты меня слышишь, нет?! Сколько я буду одно и то же талдычить? Хоть посуду помой! Или вон девка твоя пусть помое!

На слове «девка» она кивает в мою сторону. В ответ бросаю быстрый осуждающий взгляд: только совершенно безмозглое существо может поставить Золотого Будду Шакьямуни в один ряд с какими-то носками и грязными тарелками. А ему всё равно, лежит на диване, заложив руки за голову, на голове — наушники, в наушниках — безумные гитарные записки.

Будда отрешённо смотрит в потолок, чуть шевелит губами, и я мечтаю выскользнуть из вытертого кресла, подойти и тихонько прикоснуться к его губам своими. Только он не захочет, никто не захочет целоваться с пустым местом. Поэтому заставляю себя отворачиваться. Стискиваю книжный переплёт, плююсь в нагромождение строчек. «Степной волк» Гессе. Не текст, а каменоломня



какая-то. Будда прочитал, а я не могу, продираюсь через каждое предложение со скрипом и скрежетом. Стыдно, я ведь не тупая.

— Вот тоже подружку нашёл до пары, рыбу перемороженную, — вздыхает бабка. — Не дом, а кунсткамера, сил моих нет!

И дальше в том же духе. Она, в общем-то, не злобная, просто ограниченная, как большинство взрослых. Переваливается уткой из комнаты в кухню, из кухни в ванную, из ванной снова в комнату, и так по кругу. По сути, вся её жизнь — унылое ковыряние в пыльных углах отдельно взятой квартиры. Так ей и надо. Затхлые дни, плоские мысли, каркающий голос, больная спина и варикозные ноги — только её вина.

Мы никогда не станем такими. Потому что танцуем на крыше, ценим настоящих свободных людей и не оглядываемся на остальных. Другие просто не существуют, зато наших мы безошибочно узнаём в любой толпе.

### 3

Наши собираются на Колесе или в Мелином переулке. Меля — один из старичков, ветеран армии «АлисА». Лет десять назад, в начале

девятиногих, когда я, Спринга, Каша, Чепчик, Джим и Будда ходили в первый класс, он зажигал красные факелы на концертах Легенды, а во время стрелок на заброшенном аэродроме знатно ломал кости рэперам и гопникам. Так рассказывают. В это нетрудно поверить, глядя на его мощное квадратное тело, на перебитую сплюснутую переносицу и бритый череп. Я видела Мелю вблизи на нескольких сейшенах, где все мы сбивались в потную пульсирующую массу под вопли местных хардрокеров. Один раз он даже навёл на меня мутные колючие глазки и спросил:

— Ты кто?

— Никто, — ответила я.

— Хорошее имя — Никто.

Мелин переулок — узкий замусоренный тупик. Его не так просто отыскать, если не знаешь потаённую низкую арку между двумя пафосными сталинками. Тесно и укромно — самое то для маленькой компании. Орать здесь не хочется, душа просит чуть расстроенного гитарного брэнчания и светлой тоски: «Панихида по апрелю состоялась в сентябре — плакали трамваи на изгибах рельсов...» Мы поём «Маленькую девочку со взглядом волчицы» или «Грибоедовский вальс». Всё, от чего хочется тяжело вздыхать.

А поорать можно и на Колесе, то есть в сквере у круглого фонтана. Там нас много, там только и делай, что лениво болтайся от скамейки к скамейке, сплетничай, хохочи так, чтобы шарахались прохожие. Джинса, хаки и кожа, берцы с белой шнуровкой и гриндерсы с титановыми носами, цепи и заклёпки, серьги и бисерные феньки, ошейники панков и плетёные хайратники хиппи, сальные патлы всех цветов радуги. «Сдохни, серость!» — вот как называется этот праздник.

Ма твердит, что мой восторг пройдёт и братство наших покажется унылой толпой лоботрясов. Что у меня юношеский максимализм. От её бесконечного нытья охота на стенку лезть. Потрясающее равнодушие. Я не устаю удивляться: до чего надо быть деревянной, чтобы всё списывать на какую-то вымышленную ерунду. Говоришь, что в школе не учат, а оболванивают? Это максимализм. Считаешь взрослых лицемерами? И это максимализм. Сходишь с ума от того, что вокруг много людей, но не с кем поговорить? Тоже максимализм. Видишь в зеркале уродину? Опять максимализм. Не хочешь превратить свою жизнь в скучное болото? Всё это максимализм. Каприз. Чушь. Плевать на тебя.

Нет уж, вам придётся на нас смотреть.

Мы хлопаем в ладоши, вскидываем кулаки, оттопыривая указательный и мизинец, повторяем

припевы до хрипоты, упиваемся друг другом. Это мы часами спорим о природе Бога и собственном предназначении. Мы декламируем Бодлера и Ницше по памяти, пусть самые затасканные строчки, но с железобетонной верой в их истинность. Мы поём в тамбурах электричек и для забавы срываем стоп-краны. Мы танцуем на крыше и крадём в секунд-хэндах.

## 4

Завозы нового тряпья в секунды отслеживает Спринга. Она объявляет об очередном таком пополнении, когда мы заканчиваем с танцами и рассаживаемся на карнизе. Если бы случайный прохожий посмотрел вверх, мы бы показались ему горгульями. Вроде тех статуй на готических храмах. Но люди редко поднимают головы и разглядывают крыши, особенно по вечерам. Даже не редко — никогда.

— Тётка моя рядом с секундом живёт, она знает, — поясняет Спринга.

— Затаривается там? — лениво тянет Каша.

— Вроде того. Говорит, что в эти магазины привозят гуманитарку — дармовые шмотки, которые европейцы собирают для нищих. Хлам, короче.

А у нас его продают. Берут старье просто так, а сбывают за деньги. Нормально?

— Ничего удивительного, — хмыкает Джим.

— Ну да. А ещё продавщицы годное себе забирают, а продают остатки. Сплошной обман. Давай-те завтра их накажем.

Почему бы и нет, всё равно делать нечего.

Говорят, что воровать грешно, но мы ведь не всерьёз. Просто играем. Стаскиваем в примерочные ворох одёжек, надеваем вещь за вещь, одну на другую, пока не становится слишком заметно. Морщусь от химического запаха дезинфекции, торопливо запихиваю в рюкзак чёрный свитер крупной вязки для Будды и бочком выхожу на улицу. Можно закрыться в туалете соседнего кафе, снять лишнее и вернуться в секунд за добавкой, но я уже взяла, что хотела.

Я сразу понимаю, сколько брать. Спринга, наоборот, не успокоится, пока не обшарит все полки, вешалки и корзины. Каша забалтывает унылую тётку на кассе, чтобы его подружка могла спокойно порыться в цветастой куче. Джим с Чепчиком болтаются у входа, а Будда сидит на лестнице и слушает плеер, постукивая пальцами по колену. Я раскрываю рюкзак и показываю ему сегодняшней трофей. Будда чуть улыбается и предлагает один наушник. Теперь мы сидим рядом, соединённые тонким проводом и голосом Легенды. Боже,

сделай так, чтобы Спринга стала ещё медлительнее. Или останови время.

Вечером музыка ревет из магнитофона на полную громкость, и мы её перекрикиваем. Я наблюдаю, как Будда распарывает крупные петли чёрного свитера. Маникюрные ножницы поблёскивают в жёлтом свете настольной лампы, нитки ползут, полотно зияет длинными прорезами. Потом в ход идут булавки. Будда выуживает их из бабкиной швейной коробки и стягивает свежие дыры, создавая замысловатый металлический узор.

У меня тоже есть одна. Достая булавку из мочки уха и протягиваю ему. Он осматривает свитер, прикидывая лучшее место, закалывает горловину. Будда доволен, и я почти счастлива.

## 5

Без железки уху легко и непривычно, рука то и дело тянется потрогать голую мочку. У своего подъезда останавливаюсь, чтобы вынуть булавку, как делаю это каждый вечер, но нахожу только пустоту.

Жаль, что дома пустотой и не пахнет — отца нет, но есть Ма и её подружка Инна. Инусик. Судя по скорбному выражению лица, Инусик снова

работает жилеткой, в которую Ма то плачет, то сморкается: тяжело быть женой начальника, особенно второй, особенно если увела его от первой, приманив беременностью.

Семейное предание гласит, что отец безумно хотел дочку и ради неё, то есть меня, оставил двух сыновей. Старшие братья, очень старшие, знают, что я есть, но на этом всё. Не то чтобы они совсем не интересуются, просто со мной слишком трудно общаться. Ма подтвердит. Она может много чего рассказать под настроение, которое случается всякий раз, когда отец задерживается на работе. В такие дни до Ма доходит, что если человек бросил одну семью, то вполне может уйти из другой. А кто виноват? Правильно, я — вечное разочарование.

— Здороваться не надо? — интересуется Ма, когда я сбрасываю обувь в прихожей и крадусь мимо кухни. Она выглядит спокойной, но уже на старте. — Где была?

— Гуляла.

— С кем?

— С Буддой и Спрингой.

— Это собачьи клички? — вклинивается Инусик. — Кокер-спаниелей выгуливаешь?

Смотрю из дверного проёма. Похоже на картину в раме: последний год двадцатого века, холст,

масло, бытовая сценка: «Поздний ужин гламурных куриц в интерьере хай-тек». Глаза у них блестят от коньяка, рты испачканы жирной помадой, а может, лоснятся из-за сырокопчёной колбасы. Её алые кругляши с белыми сальными крапинками лежат веером на большой тарелке рядом с оливками, дольками лимона и надкусанным шоколадом. Почти такие же алые, как ногти Инусика.

«Но женщины — те, что могли быть как сёстры, — красят ядом рабочую плоскость ногтей», — сказал Великий. И это верные слова. Наши не врут, тем более в песнях. Значит, врут другие.

— Тётя Инна, — говорю, — отгадайте загадку.

— Зачем?

— Отгадайте, — терять мне нечего, Ма по-любому закатит полуночную истерику на абстрактную тему. — Тётя Инна, что легче разгрузать: вагон с брёвнами или вагон с мёртвыми людьми?

— Кошмар какой! — кривится Инусик. — Ну тебя!

— Легче разгрузать, — гну своё, — вагон с мёртвыми людьми. А знаете, почему?

— Тебе сказали, хватит! — рычит Ма.

— Потому что можно использовать вилы. Вилы. Здорово, да?

Я совершенно серьёзна, ни намёка на усмешку. Пусть думают, что мне такое нравится, пусть